



# Контракт

Максим Козлов

18+

# Максим Козлов

## Контракт

*<https://litres.ru/74012918>*

*SelfPub; 2026*

### Аннотация

2050 год. Изобретена таблетка, останавливающая старение. Она не лечит болезни и не защищает от смерти — просто не даёт телу стареть. Главный герой принимает её в 25 лет, не подозревая, что подписывает себе приговор.

Первые сто лет — счастье: путешествия, любовь, новые профессии. Через двести лет — одиночество: все, кого он любил, умерли. Через пятьсот — он становится подопытным, подписав «Контракт» с учёными. Через тысячу — живым экспонатом в музее. Через две тысячи — последним человеком на Земле, за которым присматривают роботы.

Это дневник бессмертного, записи в котором становятся всё короче и бессвязнее. Язык деградирует вместе с памятью героя. Читатель проходит с ним три тысячи лет — от надежды к отчаянию, от отчаяния к принятию. Это медленная, мучительная книга о том, что бессмертие — не дар, а проклятие. Потому что смысл жизни рождается из её конечности. Если у тебя вечность, зачем спешить? Зачем любить? Зачем жить?

# Содержание

2050 год. Таблетка	4
2060–2100. Сорок лет. Или около того	23
2100–2200. Сто лет одиночества среди людей	41
Конец ознакомительного фрагмента.	49

# Максим Козлов

## Контракт

### 2050 год. Таблетка

Дождь шёл третий день. Он не прекращался, просто иногда становился тише, будто собирался с силами, а потом снова лупил по жестяному подоконнику с новой злостью. Марк лежал на кровати и смотрел в потолок. По потолку ползла трещина, тонкая, как волос. Он знал эту трещину уже четыре года, с того самого дня, как въехал в эту квартиру. Тогда она была короче. Теперь она дотянулась почти до люстры. Медленно, незаметно для глаза, но она ползла. Как жизнь. Как всё.

На тумбочке стоял стакан с водой. Прозрачный, без единой царапины, из толстого стекла. Икеа, кажется. Или что-то такое. Рядом со стаканом лежала таблетка. Маленькая, круглая, белая, без опознавательных знаков. Она не была похожа на чудо. Чудеса вообще редко выглядят как чудеса. Чаще всего они похожи на мелочь, на случайность, на то, что можно не заметить и пройти мимо. Если бы ему не сказали, что это — ответ на самый старый вопрос человечества, он бы, наверное, смахнул её на пол и раздавил подошвой.

Дождь усилился. Где-то далеко, за серой пеленой, гремел

гром. Август две тысячи пятидесятого был гнилым. Всё лето обещали тепло, но синоптики, как обычно, врали. Или просто погода сломалась окончательно. Говорили, что климат теперь такой, что ничего не поймёшь, и лет через двадцать Лондон уйдёт под воду, а Амстердам уже почти ушёл, но это были чужие проблемы. У Марка была своя.

Ему было двадцать пять. В этом возрасте люди обычно планируют будущее. Покупают абонементы в спортзал, заводят страницы на сайтах знакомств, берут ипотеку, которую будут выплачивать до седых волос. У них есть будущее. Конечно, ограниченное, с датой окончания гарантии, как на стиральной машине, но есть. Будущее, в котором они состарятся, выйдут на пенсию, увидят внуков и умрут в больнице под капельницей, глядя в белый потолок с трещиной, похожей на волос. Это нормально. Это — человеческая жизнь. Так было всегда. Так должно быть.

Марк перевернулся на бок. Таблетка не исчезла. Она всё так же лежала и, казалось, ждала. Она была терпеливой. Вещи, которые меняют мир, всегда терпеливы. Они могут ждать веками.

Он вспомнил, как три дня назад сидел в баре «Синий лис» на углу Пятой и Мельничной. Бар был дерьмовый, но там наливали дешёвое пиво и не спрашивали документов, даже когда ему было семнадцать. Теперь ему двадцать пять, и он всё ещё ходил туда, просто потому что привык. Привычка — это сильная штука. Сильнее любви, сильнее страха. Ты

возвращаешься в дерьмовый бар, потому что знаешь, где там туалет и какая официантка не хамит. Вот и всё.

В тот вечер в баре сидел человек. Он был старый. Не просто в возрасте, а какой-то фундаментально старый, будто его выкопали из земли. Кожа на лице висела складками, как старая рубашка на слишком худых плечах. Глаза выцвели, стали водянистыми, но смотрели остро. Так смотрят люди, которые видели слишком много и уже ничему не удивляются. Он пил виски. Хороший виски, не местную бурду, которую подавали в «Синем лисе». Виски ему принесли с собой, и бармен не возражал, потому что старик платил наличными и много.

Старик смотрел прямо перед собой, в зеркало за стойкой, где отражались огни и лица пьяных людей. Марк сидел через два стула от него и тоже смотрел в зеркало. Их взгляды встретились в зеркальном отражении. Это было как короткое замыкание. Искра. Ничего особенного, но старик вдруг улыбнулся, и его улыбка была похожа на трещину в сухой земле.

— Хочешь знать секрет? — спросил он. Голос был скрипучий, как несмазанная дверь, но звучал отчетливо, перекрывая шум бара и музыку.

Марк не ответил. Он вообще не любил разговаривать с незнакомцами, особенно с пьяными стариками в дешёвых барах. Это редко приводит к чему-то хорошему. Чаще всего тебе просто хотят рассказать про свою бывшую жену или про

то, как хорошо было раньше, когда деревья были большими.

— Я серьёзно, — сказал старик и пододвинулся ближе. Он двигался с трудом, каждое движение давалось ему с усилием. Кости, наверное, болели. Суставы стёрлись. Старость — это не мудрость. Это износ. — Ты молодой. Тебе двадцать пять, я угадал?

— Допустим, — сказал Марк.

— Я помню, когда мне было двадцать пять. Это было очень давно. Тогда ещё самолёты летали на бензине, а телефоны были с кнопками. Смешно. Сейчас это звучит как каменный век. Но тогда это была жизнь. Моя жизнь. Она кончается. Я знаю это. Чувствую. Каждое утро я просыпаюсь и думаю — ну, может, сегодня. Но нет. Просыпаюсь. А толку? Тело не слушается. Мысли путаются. Воспоминания блёкнут. Я помню лицо своей матери, но только в общих чертах. Как будто смотришь сквозь мутное стекло. Это и есть старость, парень. Медленное исчезновение.

Он замолчал и отпил ещё виски. Рука дрожала, но стакан он держал крепко. Привычка. За годы пьянства вырабатывается рефлекс — не проливать. Даже если всё остальное уже отказало.

— А ты знаешь, что есть способ? — вдруг сказал он тихо. Так тихо, что Марку пришлось наклониться. — Способ остановить это. Не повернуть вспять. Нельзя снова стать молодым. Но можно остановиться. Зафиксироваться. Как мошка в янтаре. Навсегда.

Марк хмыкнул. Он слышал эти сказки. Каждые пять лет кто-то объявляет, что изобрёл эликсир молодости. Обычно это кончается разоблачением и иском от обманутых пенсионеров. Или выясняется, что средство работает, но вызывает рак кишечника с вероятностью семьдесят процентов, и его запрещают. Вечная жизнь — это такой же аттракцион для идиотов, как лотерея или обещания политиков перед выборами.

— Я не продаю ничего, — сказал старик, будто прочитав его мысли. — У меня нет лавки, нет сайта, нет криптокошелька. Я просто знаю. И я могу дать тебе это. Бесплатно. Просто так. Потому что мне скучно. Потому что я хочу посмотреть, что ты с этим сделаешь.

Он полез в карман пиджака. Пиджак был старый, добротный, из тех, что шьют на заказ и носят десятилетиями. Ткань вытерлась на локтях, но швы держали. В кармане что-то звякнуло. Старик вытащил маленький пластиковый пакетик, запечатанный, с одной-единственной белой таблеткой внутри. Положил на стойку между ними.

— Это оно? — спросил Марк. Он не верил. Но что-то внутри него дрогнуло. Какая-то струна, про которую он и не знал.

— Это оно, — подтвердил старик. — Одна таблетка. Останавливает старение. Полностью. Необратимо. Никаких побочных эффектов. Ты останешься таким, как сейчас, навсегда. Будешь двадцатипятилетним. Кожа, волосы, суставы,

внутренние органы — всё замрёт. Ты не заболеешь раком от времени, но можешь подхватить холеру. Тебя можно убить. Нож, пуля, падение с высоты, да хоть тот же вирус, новый штамм, который ещё не придумали. Ты не неуязвимый. Ты просто не стареешь. Понимаешь разницу?

— Понимаю, — сказал Марк. — И в чём подвох?

— Подвох? — старик усмехнулся. — Подвох в том, что ты будешь жить долго. Очень долго. Ты переживёшь всех, кого любишь. Ты увидишь, как умрут твои дети. Как умрут твои внуки. Как рассыплются в прах города, которые ты считал вечными. Ты будешь смотреть на закаты, и их будет так много, что ты возненавидишь солнце. Ты будешь терять всё, что приобретёшь. И ты никогда, слышишь, никогда не сможешь это остановить. Не существует антидота. Ты согласен на такое?

Марк молчал. В баре гремела музыка, кто-то смеялся, кто-то ругался из-за счёта. Обычный вечер. Дождь на улице, пиво в стакане, жизнь идёт своим чередом. А перед ним на стойке лежало решение. Простое, маленькое, белое. Решение, которое делило его жизнь на «до» и «после».

— Почему я? — спросил он.

— А почему нет? Ты показался мне подходящим. Ты ещё не обзавёлся кучей обязательств. У тебя нет жены, нет детей, нет ипотеки. Ты свободен. И ты напуган. Я вижу это. Ты боишься будущего. Ты боишься состариться. Ты боишься стать таким, как я. Так прими подарок. Или не принимай. Мне всё

равно. Я, знаешь ли, уже тоже не боюсь. Мне поздно бояться.

Старик допил виски, бросил на стойку несколько купюр и встал. Это было долгое, мучительное движение. Кости хрустели, дыхание стало тяжёлым. Он опёрся на трость, которую Марк раньше не заметил, и, не прощаясь, пошёл к выходу. Его спина была сгорбленной, фигура — сломанной. Дверь открылась, впустив запах дождя и мокрого асфальта, и закрылась за ним.

Таблетка осталась на стойке.

Марк смотрел на неё минуту, две, пять. Потом взял и сунул в карман джинсов. Просто так. Чтобы не оставлять на виду. Мало ли. Может, это просто мел. Может, это яд. Может, это ничего. Он вышел из бара, поднял воротник куртки и пошёл под дождём домой.

Теперь, три дня спустя, таблетка лежала на тумбочке, а дождь всё шёл. Марк думал. Думать было трудно. Мысли разбегались, как тараканы, когда включаешь свет. Он пытался ухватить хотя бы одну, рассмотреть, понять, но они ускользали. Страх. Это был страх. И любопытство. И что-то ещё, чему он не мог подобрать названия.

Он вспомнил отца. Отец умер четыре года назад. Рак лёгких. Диагноз поставили в январе, а в марте его уже не стало. Сгорел быстро, как сухая трава. Марк помнил его в больнице — худого, с серой кожей, с трубками в носу. Отец тогда сказал: «Знаешь, я не боюсь умереть. Я боюсь, что не успел». Он не уточнил, что именно не успел. Может, и сам не знал.

Просто чувствовал, что жизнь кончилась, а он ещё не всё сделал. Или не всё понял. Или не всё исправил.

Мать ушла ещё раньше. У неё было что-то с сердцем. Внезапно, без предупреждения. Утром пила кофе, смеялась над глупой передачей по телевизору, а вечером лежала на полу в гостиной с остекленевшими глазами. Марк нашёл её. Ему было пятнадцать. С тех пор он знал, что смерть — это не страшная старуха с косою. Это внезапность. Это телефонный звонок, которого ты не ждёшь. Это стук в дверь в три часа ночи.

Смерть всегда рядом. Она не спрашивает разрешения. Она просто приходит. И у неё нет расписания.

А теперь ему предлагали сделку. Ты не умрёшь от старости. Ты не будешь дряхлеть. Твоё тело останется молодым. Но смерть всё равно придёт. Просто она придёт не в виде медленного угасания, а в виде случайности. Авария. Инфекция. Война. Кирпич, упавший на голову. Смерть станет лотереей, в которой у тебя бесконечное количество билетов. Рано или поздно ты проиграешь. Но когда это «поздно»? Через сто лет? Через пятьсот? Через тысячу?

Он сел на кровати. В комнате было серо от дождя. Часы показывали три пополудни, но казалось, что уже вечер. Таблетка смотрела на него. У таблеток нет глаз, но эта смотрела. Он чувствовал это кожей.

— Чёрт с тобой, — сказал он вслух. Голос прозвучал хрипло, он не разговаривал уже несколько часов. — Чёрт с

тобой.

Он взял стакан, бросил таблетку в рот и запил. Вода была тёплой, противной. Таблетка пошла легко, не оставив вкуса. Ничего не произошло. Никакой вспышки света, никакого гула в ушах, никакого ощущения, что мир изменился. Просто глоток воды. Просто ещё один четверг.

Марк поставил стакан обратно. Посмотрел на свои руки. Они были такими же, как минуту назад. Молодые руки, с длинными пальцами, с маленьким шрамом на указательном — в детстве порезался ножом, когда пытался открыть консервную банку. Шрам не исчез. Ничего не исчезло. Всё осталось на своих местах.

Он лёг обратно на кровать и стал смотреть в потолок. Трещина никуда не делась. Она всё так же ползла к люстре. Медленно. Очень медленно. Но теперь у него было время. Много времени. Всё время мира.

Дождь продолжался.

— Что я наделал? — прошептал он в пустоту.

Пустота не ответила. Она вообще редко отвечает.

Первые дни после таблетки были странными. Не плохими, не хорошими — просто странными. Марк просыпался каждое утро и первым делом смотрел в зеркало. Искал признаки. Морщины в уголках глаз, которых не было раньше. Седина в висках. Что-нибудь, что сказало бы ему — процесс идёт, жизнь движется, ты стареешь, как все. Но ничего не менялось. Лицо было то же, что и неделю назад. То же, что и

месяц. Двадцать пять лет, ни больше ни меньше. Кожа гладкая, глаза ясные, волосы густые. Никаких следов времени.

Это пугало его больше, чем он ожидал. Когда ты молод, ты не замечаешь, как стареешь. Это происходит слишком медленно для глаза. Но когда ты знаешь, что не стареешь вообще, ты начинаешь всматриваться. Ждать. И тишина, которая отвечает тебе из зеркала, оглушает.

Он решил провести эксперимент. Порезал палец ножом, небольно, просто кончик, чтобы выступила кровь. Засёк время. Обычно такие порезы заживают у него за два-три дня. Он ждал. Через день ранка всё ещё была. Через два — затянулась корочкой. Через три — исчезла совсем, оставив едва заметную полоску новой кожи. Нормально. Обычная регенерация. Таблетка не делала его суперменом. Она просто держала его на уровне двадцатипятилетнего организма. Все процессы — заживление, обмен веществ, работа органов — оставались в оптимуме. Не лучше, не хуже. Просто в оптимуме. Навсегда.

Он пошёл в спортзал. Бегал на дорожке, пока не взмок. Мышцы болели, как обычно. Сердце колотилось. Всё как всегда. Он не стал быстрее, не стал сильнее. Никаких суперспособностей. Только отсутствие будущего распада.

Это было как подвешенное состояние. Как зависшая компьютерная программа. Ты здесь, ты функционируешь, но часы не тикают. И от этого тиканья, вернее, его отсутствия, поначалу было не по себе.

Он позвонил Лене. Лена была его подругой уже два года. Они не жили вместе, но проводили друг у друга почти каждую ночь. Отношения были удобными, без драм и обязательств. Ей было двадцать три, она работала иллюстратором, рисовала обложки для книг, которые никто не читал, но которые хорошо продавались благодаря ярким картинкам. У неё были рыжие волосы и привычка смеяться невпопад.

— Привет, — сказал он в трубку. — Ты занята?

— Как всегда, — ответила она. — Рисую дракона. Издатель сказал, что дракон должен быть сексуальным. Ты можешь представить сексуального дракона?

— Нет.

— Я тоже. Но деньги платят. Ты что хотел?

— Просто так. Увидеться.

— Сегодня не могу. Завтра? Приходи вечером, закажем пиццу.

— Хорошо.

Он положил трубку и подумал — сколько ещё таких разговоров у него будет? Сто? Тысяча? Десять тысяч? Раньше каждое «увидимся завтра» имело вес, потому что завтра могло не наступить. Теперь завтра гарантировано. Всегда. И это обесценивало слова. Делало их пустыми, как конфетные фантики.

Следующие несколько месяцев прошли как в тумане. Он не уволился с работы — работал тогда в IT-поддержке, помогал людям, забывшим пароль от почты. Не бросил квар-

тиру. Не уехал в кругосветное путешествие. Он просто жил, как жил раньше, только теперь с постоянным фоновым ощущением нереальности происходящего. Как будто он смотрит кино про свою жизнь, а не живёт её.

Странности начались позже. Примерно через полгода он заметил, что перестал простужаться. Не то чтобы совсем — пару раз чихал, шмыгал носом, но на следующий день всё проходило. Иммунитет работал идеально. Никаких затяжных болезней. Никаких осложнений. Организм двадцатипятилетнего в пике формы справлялся с любой инфекцией за считанные часы.

Потом он заметил, что перестал уставать. Не в том смысле, что вообще не хотел спать. Спал он по-прежнему часов семь-восемь. Но после сна вставал полностью отдохнувшим. Никакой утренней разбитости. Никакой тяжести в теле после долгого дня. Энергия была ровной, постоянной. Он не знал, хорошо это или плохо. Усталость — это часть человеческого опыта. Она даёт вкус отдыху. А когда усталости нет, отдых теряет смысл. Ты просто спишь, чтобы поддерживать функции. Как машина на подзарядке.

Лена заметила перемены первой. Они лежали в постели после секса, она курила у открытого окна, стряхивая пепел на улицу, под дождь. Дождь в тот год вообще почти не прекращался. Лена была задумчивая, молчаливая, что с ней бывало редко.

— Ты изменился, — сказала она, не глядя на него.

— В каком смысле?

— Не знаю. Ты как будто здесь и не здесь. Строишь сквозь меня иногда. И ещё... ты перестал торопиться.

— А это плохо?

— Это странно. Раньше ты вечно спешил. Опаздывал, сустился, психовал из-за пробок. А теперь... тебе как будто всё равно.

Марк промолчал. Он и сам замечал это. Спешка ушла. Раньше он жил с ощущением, что времени мало, что нужно всё успеть, что каждая минута на счету. Теперь времени было навалом. Бесконечный запас. Куда спешить? Пробка? Плевать, постоит. Очередь? Подождёт. Жизнь? Никуда не денется.

Это было освобождение и проклятие одновременно. Потому что спешка, страх не успеть — это один из главных двигателей. Он заставляет тебя вставать по утрам, делать дела, добиваться целей. А когда спешить некуда, цели размываются. Зачем становиться лучшим в профессии? Успеется. Зачем зарабатывать деньги? Время есть. Зачем любить, зачем страдать, зачем вообще что-то делать, если у тебя впереди вечность?

Он не ответил Лене. Просто притянул её к себе, обнял и закрыл глаза. Она пахла дождём и табаком. Ему нравился этот запах. Тогда ему казалось, что он будет помнить его всегда.

Год 2051-й. Марку всё ещё двадцать пять. По паспорту

— двадцать шесть, но тело не знает об этом. Он впервые за долгое время чувствует что-то похожее на радость. Лена согласилась поехать с ним в Азию. Они купили билеты в один конец. Бангкок, Пномпень, Ханой, ещё куда-то, куда глаза глядят. Денег скопили немного, но для Азии хватит. Там дешёво. Там тепло. Там нет дождя, который льёт третий год.

Самолёт взлетает ночью. Марк смотрит в иллюминатор на огни города, уходящие вниз. Они мерцают, как россыпь жёлтых искр на чёрном бархате. Где-то там, внизу, осталась его квартира с трещиной на потолке. Бар «Синий лис». Старик с тростью, который, наверное, уже умер. Могилы родителей. Вся его прошлая жизнь. Она уменьшается, сжимается в точку, становится не важной. Впереди — целый мир.

— О чём думаешь? — спрашивает Лена. Она держит его за руку.

— О том, что мы никогда не вернёмся, — говорит он.

— В смысле?

— Не знаю. Просто чувство. Как будто мы улетаем навсегда.

Лена смеётся. Её смех перекрывает гул двигателей.

— Ты драматизируешь. Через три месяца вернёмся, когда деньги кончатся.

— Может быть.

Он не спорит. Он знает, что деньги не кончатся. Они всегда найдутся. Времени — бесконечно. Можно выучить любой язык, освоить любую профессию, заработать любое со-

стояние. Или не заработать. Или жить в хижине на пляже и есть рис с рыбой. Спешить некуда. Планов можно не строить. Жизнь сама понесёт.

Бангкок встречает их влажной жарой и запахом специй. Улицы кипят. Тук-туки, мотобайки, торговцы, туристы, монахи в оранжевых одеждах. Всё движется, кричит, дышит. Марк впервые за долгое время чувствует себя живым. Не просто функционирующим механизмом, а живым человеком. Он жадно впитывает впечатления, как сухая губка. Храмы с золотыми шпилями. Плавающий рынок, где лодки забиты фруктами и цветами. Ночные клубы на Каосан-роуд, где гремит музыка и пахнет марихуаной.

Они проводят в Бангкоке неделю. Потом едут на север, в Чиангмай, где тише и прохладнее. Снимают маленький домик на окраине, с видом на рисовые поля. Утром Лена рисует. Марк сидит на веранде, пьёт местный чай и смотрит на горы в тумане. Ему хорошо. Впервые за долгое время ему по-настоящему хорошо.

— Знаешь, — говорит он однажды вечером, когда они лежат в гамаке, — я думаю, мы можем остаться здесь навсегда.

— Навсегда — это сколько? — спрашивает она полушутя.

— Я серьёзно. Продадим квартиру, купим здесь дом. Будем жить.

— А визы?

— Разберёмся. Визы — это бумажки. Бумажки всегда можно решить.

Лена молчит долго. Потом говорит:

— Я не хочу жить здесь навсегда. Мне нравится наш город. Нравится дождь. Нравится моя студия. Я люблю путешествовать, но возвращаться домой тоже люблю.

— Дом — это где ты.

— Красиво сказано. Но неправда. Дом — это где твои вещи, твои привычки, твои друзья. Где ты знаешь, в какой булочной самый вкусный хлеб. Этого не заменить.

Марк не спорит. Но в голове у него зреет мысль. Мысль о том, что теперь он может жить где угодно и как угодно. У него нет привязок. У него нет ограничений по времени. Он может увидеть всё. Каждую страну, каждый город, каждый остров. Он может выучить все языки, прочитать все книги, попробовать всю еду, какую только готовят люди. Вселенная сжалась до размеров планеты, и эта планета теперь принадлежит ему. Не в смысле собственности. В смысле доступности.

Они возвращаются через три месяца. Не из-за денег. Лена заскучала по дому. Марк не спорил. Он знал, что это не последняя поездка.

И оказался прав. Через полгода он уехал один. В Южную Америку. Потом в Африку. Потом в Скандинавию. Он менял континенты, как другую одежду. Лена сначала ждала, потом обижалась, потом привыкла. Их отношения стали напоминать переписку старых друзей — редкие письма, поздравления с праздниками, обещания увидеться «когда-нибудь».

Это «когда-нибудь» так и не наступило. Они не расстались — они просто разошлись, как расходятся в море корабли, взявшие слишком разный курс.

Марку было грустно, но не очень. Он знал, что это — лишь первый эпизод длинной череды расставаний. Будет ещё много Лен. Много городов. Много жизней. Он — коллекционер впечатлений, и его коллекция только начинается. Так он тогда думал.

2060 год. Десять лет спустя. Марку всё ещё двадцать пять. Он возвращается в родной город. Ему нужно забрать кое-какие документы, решить вопросы с квартирой, которую он наконец решил продать. Всё это время он сдавал её, но теперь хочет окончательно порвать с прошлым. У него новая жизнь. Он — человек мира. Квартира — это якорь, а якоря ему не нужны.

Город изменился за десять лет. Появились новые здания, старые снесли или перестроили. «Синего лиса» больше нет — на его месте какой-то модный ресторан с молекулярной кухней. Марк проходит мимо и чувствует странный укол. Не ностальгии — чего-то другого. Ощущение, что мир движется, а он стоит на месте. Мир меняется, а он — нет.

В банке, куда он пришёл за выпиской по счёту, его долго разглядывают. Паспорт говорят, что ему тридцать пять. Лицо говорит, что двадцать пять. Девушка за стойкой смотрит то на фото в паспорте, то на него. Фото старое, но он на нём выглядит так же, как сейчас. Потому что он такой же.

— Хорошо сохранились, — говорит она неуверенно.

— Гены, — отвечает он. — И здоровый образ жизни.

Это первая ложь. Их будет много. Бесконечно много.

Он идёт на кладбище. Родителей он не навещал уже несколько лет. Могилы заросли травой, надо заказать уборку. Он стоит перед серыми плитами с именами и датами, которые ничего не значат. Отец. Мать. Их больше нет, и никогда не будет. А он есть. И будет ещё долго.

— Я принял вашу смерть, — говорит он вслух. — Я думал, что смогу избежать вашей участи. И я избежал. Но кем я стал? Тем, кто стоит на кладбище и разговаривает с мёртвыми. Поздравляю, Марк. Ты выиграл в лотерею.

Ему никто не отвечает. Вороны кричат, ветер несёт пыль. Всё как обычно.

Вечером он сидит в баре. Новом, не «Синий лис», но тоже ничего. Заказывает виски, как тогда старик. Ему приносят. Он пьёт и смотрит в зеркало. Ему всё ещё двадцать пять. Но глаза другие. Он помнит этот взгляд. Так смотрел старик. Остро, видяще, сквозь людей и предметы. Взгляд человека, который знает слишком много.

Бармен, молодой парень с модной стрижкой, подходит, спрашивает, не хочет ли он повторить. Марк кивает. Парень наливает и вдруг говорит:

— Слушай, а я тебя знаю. Ты же Марк, да? Мы с тобой в одном дворе росли. Ты старше меня, но я тебя помню. Ты вообще не изменился! Как так?

— Спорт, — говорит Марк. — Здоровое питание. Гены.

— Да ладно! Я тебя двадцать лет не видел. Ты вообще такой же.

Марк пожимает плечами. Парень отходит, качая головой. В его глазах — недоверие. И что-то ещё. Страх? Да. Люди всегда боятся того, что не могут объяснить. А Марк теперь — то, что нельзя объяснить. Он — сбой в матрице, ошибка в программе, живое доказательство того, что правила больше не работают.

Он допивает виски и идёт в гостиницу. Поднимается в номер. Ложится на кровать и смотрит в потолок. Здесь нет трещины. Новый отель, свежий ремонт. Но он всё равно её видит. Трещину, которая ползла к люстре. Медленно. Очень медленно.

Теперь он знает — медленность не спасает. Она просто растягивает неизбежное. И то, что казалось даром, начинает понемногу показывать свои зубы. Пока ещё молочные. Пока только царапает, не кусая. Но зубы есть.

И они будут расти.

Дождь за окном прекратился. Но это ненадолго. Он всегда возвращается. Так же, как память. Так же, как боль. Так же, как всё, от чего ты надеялся убежать, но не смог. Потому что бежать некуда, когда бесконечность — это ты сам.

## 2060–2100. Сорок лет. Или около того

Он перестал считать дни. Сначала это произошло незаметно. Просто однажды утром он проснулся в номере отеля где-то в Сеуле, или это был Токио, или Куала-Лумпур — какая разница, все отели одинаковы, белые стены, кондиционер, карточка «не беспокоить» на дверной ручке — и понял, что не помнит, какое сегодня число. Телефон сел. Надо было зарядить. Он поискал зарядку, не нашёл, плюнул. Число какое-то. День недели. Месяц. Всё это стало неважным. Как шелуха. Как ценники на вещах, которые ты уже купил.

Оделся. Вышел на улицу. Солнце ударило в глаза — белое, безжалостное. Азиатское солнце, оно другое, чем дома. Дома солнце было мягче, или ему так казалось. Теперь он уже не помнил точно. Память стала избирательной. Она отбрасывала всё, что не имело значения для выживания, а выживание теперь было простым: поесть, поспать, найти ночлег. Всё остальное — лишний груз.

Ему всё ещё было двадцать пять. По паспорту — тридцать пять. Но паспорт он давно потерял, а новый делать было лень. Он вообще стал ленивым. Не в смысле, что не мог двигаться — тело было всё таким же, молодым, сильным, послушным. А в смысле, что не видел смысла. Раньше смысл

был в том, чтобы чего-то достичь. Теперь достигать было нечего и незачем. Время обесценило достижения. Зачем становиться лучшим в чём-то, если через сто лет это «что-то» исчезнет? Зачем зарабатывать деньги, если они всё равно кончатся, но у тебя будет время заработать ещё? Зачем строить дом, если ты не знаешь, где будешь жить через десять лет? Через пятьдесят? Через двести?

Он сел в кафе. Заказал что-то, не глядя в меню. Официантка — молодая, симпатичная, с родинкой над губой — улыбнулась ему. Он мог бы улыбнуться в ответ. Мог бы заговорить. Мог бы провести с ней вечер, ночь, неделю. Но он знал, чем это кончится. Всегда одним и тем же. Она начнёт задавать вопросы. Кто ты? Откуда? Почему ты так хорошо говоришь на моём языке, хотя ты иностранец? Сколько тебе лет? И он соврёт. Потому что правду говорить нельзя. Правда пугает людей. А когда они пугаются, они либо убегают, либо пытаются тебя уничтожить. Так устроен мир.

Он заплатил и ушёл. Просто ушёл, не оглядываясь. Слышал, как официантка что-то сказала коллеге — наверное, «какой странный». Да. Странный. Это слово теперь прилипло к нему, как запах.

Потом были годы. Они текли, как вода в реке — то быстрее, то медленнее, но всегда в одном направлении. Вперёд. Только вперёд. Без остановок, без передышек. Он менял города, страны, континенты. Учил языки — они давались легко, мозг двадцатипятилетнего впитывал новое как губка. Че-

рез пять лет он говорил на десяти языках. Через десять — на двадцати. Через двадцать — перестал считать. Языки стали как ключи от дверей, за которыми ничего нет. Открываешь дверь — новая страна, новые лица, новая еда. А за ней — пустота. Везде пустота.

Он попробовал всё. В буквальном смысле. Всю еду, какую только готовят люди. От жареных тарантулов в Камбодже до фуа-гра в Париже. Всю выпивку. От самогона в сибирской деревне до столетнего виски в эдинбургском клубе для джентльменов. Все наркотики — просто чтобы понять, каково это. Ничего не брало. Наркотики вымывались из организма за часы. Алкоголь не давал похмелья. Тело работало как идеальная машина по переработке ядов. Даже удовольствие было каким-то пресным. Без риска, без последствий, без раскаяния наутро. А что такое удовольствие без риска? Так, щекотка. Раздражение нервных окончаний.

Он попробовал опасность. Войны тогда ещё были. Мелкие, локальные, но крови хватало. Он нанялся в ЧВК — частную военную компанию. Не из идейных соображений, просто хотел почувствовать вкус смерти. Настоящей, близкой, той, что дышит в затылок. Два года в Африке. Три года на Ближнем Востоке. Его убивали трижды. В смысле — пытались. Одна пуля прошла навывлет через плечо. Зажило за две недели, даже шрама толком не осталось. Осколок мины вошёл в бедро — вытащили, зашили, через месяц он бегал как новенький. Нож в живот в пьяной драке в каком-то баре

в Киншасе — местный хирург, грязные инструменты, отсутствие анестезии. Марк выжил. Конечно, выжил. Инфекция не взяла. Иммунитет работал как часы.

После третьего раза он уволился. Не потому что испугался. А потому что понял — смерть не придёт так просто. Она будет играть с ним в кошки-мышки. Подбираться близко, дышать в лицо, но в последний момент отдёргивать лапу. Он был как мышь, которую кошка поймала, но не убивает. Просто держит в когтях и смотрит. Ждёт. Развлекается.

Он вернулся в Европу. В Цюрих. Почему Цюрих? Банки. Ему нужно было надёжное место для денег, а у швейцарцев это получалось лучше всех. Он скопил кое-что за годы наёмничества. Не миллионы, но достаточно, чтобы не работать лет десять. Положил в банк. Открыл ячейку. Сложил туда документы — настоящие, поддельные, всякие. Паспорта на разные имена. Свидетельства о рождении. Дипломы. Всё, что могло понадобиться, когда его нынешняя личность «устареет».

Это была его новая стратегия. Каждые двадцать-тридцать лет — новая личность. Новое имя. Новая биография. Он старел только на бумаге. Фотографии в документах приходилось менять чаще — лицо-то не менялось. Но он научился. Грим, очки, борода, причёска. Люди невнимательны. Они видят то, что ожидают увидеть. Если в паспорте написано «45 лет», они увидят сорокапятилетнего, даже если перед ними стоит двадцатипятилетний парень. Они объяснят себе

это как угодно: хорошие гены, пластика, ошибка природы. Главное — дать им объяснение. Людям нужно объяснение. Без него они сходят с ума.

В Цюрихе он встретил Елену. Или Хелену? Нет, её звали Елена, без «е» в начале, она настаивала на этом. Ей было двадцать девять. Она работала в банке, помогала ему с документами. Высокая, темноволосая, с резкими чертами лица, как у хищной птицы. У неё был муж и дочь пяти лет. Это делало её безопасной. Безопасные женщины — те, у которых уже есть жизнь, в которую ты не вписываешься. С ними можно дружить, можно спать, можно проводить время, но они никогда не потребуют большего, потому что им самим не нужно большее.

Так он думал.

Они начали встречаться. Сначала — кофе после работы. Потом — ужин. Потом — ночь в отеле. Елена была умной. Она не задавала лишних вопросов. Ей было достаточно того, что он рассказывал: freelance консультант, много путешествует, происхождение туманное, семья погибла, связей нет. Это было даже не совсем ложью. Семья действительно погибла. Просто очень, очень давно.

— Ты странный, — сказала она однажды. Они лежали в постели, был вечер, за окном шёл снег. В Цюрихе снег был белым и мягким, не то что мокрый дождь его прошлой жизни. — Ты как будто не из этого мира.

— Я из этого, — ответил он. — Просто задержался.

— В смысле?

— Живу долго.

Она не поняла тогда. Решила, что это метафора. Философия. Что-то про ощущение времени. Она не могла знать правды, потому что правда была слишком большой, чтобы уместиться в голове обычного человека. Обычные люди живут с ощущением дедлайна. У них есть конечный срок. Это как экзамен, который нельзя пересдать. А у него дедлайна не было. И это меняло всё.

С Эленой он прожил семь лет. Семь лет — это был рекорд. После Лены он ни с кем не задерживался дольше чем на пару месяцев. А тут — семь лет. Почти семья. Почти дом. Он помогал растить её дочь, девочку по имени София. Учил её читать, возил в школу, рассказывал сказки на ночь. Сказки, которым было много сотен лет — он знал их теперь великое множество, из разных культур, на разных языках.

София называла его дядей Марком. Её настоящий отец был где-то в другом городе, с другой женщиной. Елена развелась с ним через год после знакомства с Марком. Не из-за Марка. Просто брак себя исчерпал. Марк стал частью их жизни — удобной, спокойной, ненавязчивой частью.

А потом Элене исполнилось тридцать шесть. Это немного. Совсем немного. Но она стала замечать.

— Ты совсем не меняешься, — сказала она за ужином. Обычный ужин, паста, вино, свечи. София спала наверху. — Я смотрю на наши фотографии. Вот мы в Париже, три го-

да назад. Я там похудевшая, с новой стрижкой. А ты — точно такой же, как сейчас. Как будто фотографировали в один день.

— Я просто хорошо сохранился.

— Нет. Это не «хорошо сохранился». Так не бывает.

Она смотрела на него пристально, и в её глазах был тот самый страх. Страх перед непонятным. Марк знал этот взгляд. Видел его десятки раз. Он означал конец. Всегда означал конец.

— Я не знаю, кто ты, — сказала она тихо. — Ты не человек. Ты что-то другое.

— Я человек. Просто особенный.

— Особенный. Ты говоришь так, будто это проклятие.

— Может быть.

Они замолчали. Вино кислило на языке. Свеча догорала. Марк смотрел на Элену и понимал — это конец. Не сейчас, не завтра, но скоро. Она не сможет принять. Никто не может. Люди хотят, чтобы их близкие старели вместе с ними. Это часть договора. Негласного, но обязательного. Ты стареешь — я старею. Ты умираешь — я умираю. Вместе. А если один выходит из игры, договор разрывается.

Через месяц они расстались. Тихо, без скандалов. Он собрал вещи и ушёл, пока София была в школе. Элена плакала в дверях.

— Ты мог бы мне объяснить, — сказала она. — Я бы поняла.

— Нет, — ответил он. — Ты бы не поняла. И это нормально. Никто не понимает.

Дверь закрылась. Он стоял на лестничной клетке и слушал, как она плачет за дверью. Когда-то он тоже плакал. Когда хоронил мать. Когда провожал отца. Когда прощался с Леной. Теперь слёз не было. Эмоции истончились, стали как старая ткань — держат форму, но тронь, и рассыплются.

Он спустился по лестнице, вышел на улицу. Снег шёл. Всё тот же цюрихский снег, мягкий, белый. Он поймал такси и уехал в аэропорт. Ему нужно было новое место. Новое имя. Новая жизнь. Очередная.

В самолёте он думал о Софии. Девочка с косичками, которая рисовала ему открытки на каждый праздник. Ей сейчас одиннадцать. Через десять лет ей будет двадцать один. Через двадцать — тридцать один. А ему всё так же двадцать пять. Когда-нибудь он встретит её на улице, уже взрослую женщину, может быть, с собственными детьми. Она посмотрит на него и не узнает. Подумает — странно, этот парень похож на дядю Марка из детства. Но дяде Марку сейчас было бы пятьдесят, так что это не он.

Или узнает. И тогда будет ещё хуже.

Он решил улететь подальше. В Южную Америку. Там его никто не знал. Там можно было начать сначала. Опять. Снова. В сотый раз.

Он поселился в Буэнос-Айресе. Снял квартиру в старом районе Сан-Тельмо, с высокими потолками и скрипучими

полами. Город был шумным, пыльным, красивым какой-то обветшалой красотой. Здесь танцевали танго по вечерам, пили дешёвое вино и говорили о политике так, будто это футбол. Марку нравилось. Он снова стал кем-то. На этот раз — Карлос, испанский эмигрант, смуглый от природы, с лёгким акцентом, который он отработал за месяц.

Карлос ни с кем не сближался. Карлос был вежливым, но закрытым. Соседи считали его странным, но не опасным. Иногда он помогал старушке снизу донести сумки. Иногда играл в шахматы с продавцом из винной лавки. Всё. Ничего больше.

По ночам он сидел у окна и смотрел на улицу. Фонари горели жёлтым. Пары танцевали танго прямо на мостовой. Жизнь кипела, бурлила, переливалась через край. А он сидел над ней, как над аквариумом, и смотрел. Не участвовал. Наблюдал.

Это было его состояние на ближайшие тридцать лет. Наблюдатель. Не участник.

2090 год. Ему должно было быть шестьдесят пять. Он выглядел на двадцать пять. Он жил в Берлине. Работал барменом. Почему барменом? Потому что это просто. Наливаешь напитки, слушаешь истории, получаешь чаевые. Никакой ответственности. Никаких долгосрочных обязательств. Через пару лет можно исчезнуть — никто не хватится.

Бар назывался «Zum alten Fritz». Старый Фриц. Деревянные панели, тусклый свет, пивные кружки, которые помни-

ли ещё прошлый век. Контингент — местные старики, студенты, редкие туристы. Марк вписался идеально. Он был частью интерьерера. Как стул. Как стойка. Как пыльная бутылка шнапса на верхней полке.

Однажды вечером в бар зашёл человек. Не старый, но и не молодой. Лет сорока на вид, в дорогом пальто, с тростью. Трость была не медицинской, а стильной, с серебряным набалдашником. Человек сел за стойку и заказал виски. Марк налил. Человек посмотрел на него — и взгляд его был острым, узнавающим.

— Марк, — сказал он. Не спросил. Сказал.

Рука Марка дрогнула. Чуть-чуть. Почти незаметно. Но бутылка звякнула о край стакана.

— Вы ошиблись, — ответил он спокойно. — Меня зовут Лукас.

— Меня не интересует, как ты себя называешь сейчас. Я знаю, кто ты. Я тебя искал.

— Кто вы?

Человек достал из внутреннего кармана визитку. Белый картон, чёрные буквы. Никаких логотипов, только имя и номер телефона. «Доктор Клаус Аденауэр. Институт прикладной геронтологии. Цюрих».

Цюрих. Это слово ударило его, как пощёчина. Елена. София. Снег.

— Я не знаю, о чём вы, — сказал он, но голос прозвучал неубедительно.

— Знаешь. Ты принял таблетку. Я не знаю, кто тебе её дал. Может быть, ты сам не знаешь. Но у нас есть данные. Мы отслеживаем аномалии. Люди, которые не стареют. Думаешь, ты один такой?

Марк молчал. В баре играла старая пластинка, кто-то смеялся в углу. Обычный вечер. А мир вокруг рушился. Его мир. Его тщательно выстроенная крепость анонимности.

— Нас несколько, — продолжил доктор. — Немного. Но мы есть. Те, кто принял прототип. Первую версию. Ты, я, ещё пара человек. Я ищу вас. Потому что мы можем помочь друг другу.

— Помочь в чём?

— Выжить. Понять. Может быть, найти способ обратить процесс вспять.

Обратить вспять. Это слово зазвенело в голове. Обратить. Вспять. Снова стать смертным. Снова получить свой дедлайн. Свой экзамен. Свою конечность.

— Я не хочу обращаться, — сказал он. — Я уже привык.

— Врёшь.

— Вру, — согласился Марк. — Но вам какое дело?

Доктор вздохнул, отпил виски. Руки у него были молодые, гладкие. Но глаза — старые. Такие же, как у Марка. Глаза человека, который видел слишком много закатов.

— Мне семьдесят девять лет, — сказал он. — По паспорту. На вид — сорок. Я принял таблетку в сорок. Позднее, чем ты. Поэтому я выгляжу старше. Но процесс тот же. Я не

меняюсь уже почти сорок лет. У меня есть дети. Взрослые. Они думают, что я сделал пластику. Мы не общаемся.

— Соболезную.

— Не надо. Это была моя цена. Я пришёл не за сочувствием. Я пришёл предложить сотрудничество. Мы создаём сообщество. Сеть. Люди, которые понимают. Которым не надо врать. Которые не посмотрят на тебя с ужасом, когда ты снимешь шапку через десять лет, а под ней — та же причёска, что и раньше. Подумай.

Он оставил визитку на стойке, допил виски и ушёл. Хлопнула дверь. Звякнул колокольчик.

Марк взял визитку. Посмотрел. Хотел разорвать. Не разорвал. Положил в карман. Потом. Всё потом. У него было время.

Он не позвонил тогда. Но визитку сохранил. Она лежала в коробке с прочим хламом, который он перевозил из города в город, из страны в страну. Билеты в кино. Засушенный цветок от Софии — она подарила ему на какой-то праздник, он уже не помнил на какой. Фотография родителей, старая, выцветшая, где они ещё молодые и не знают, что умрут рано. И визитка. Белый картон. Чёрные буквы.

Иногда он доставал её и смотрел. Просто смотрел. Не звонил. Но само существование этой визитки что-то меняло. Она была как дверь. Закрытая, но существующая. В мире, где все двери вели в пустоту, закрытая дверь была сокровищем. За ней могло быть что угодно. Даже спасение.

А пока он продолжал жить. Или существовать. Грань между этими понятиями стёрлась окончательно. Он менял города, работы, имена. Был поваром в Марракеше. Инструктором по дайвингу на Бали. Переводчиком в Гааге. Экскурсоводом в Риме. Таксистом в Токио. Нигде не задерживался дольше пяти лет. Пять лет — безопасный срок. За пять лет люди замечают, что ты не меняешься, но ещё не успевают испугаться. Они списывают на хорошую генетику, на здоровый образ жизни, на йогу. На пятый год нужно исчезать.

Он выработал рутину. Приехать в новый город. Снять жильё. Получить документы — благо, связи в Цюрихе у него остались, и за деньги можно было сделать что угодно. Устроиться на работу. Завести несколько поверхностных знакомств — достаточно, чтобы не выглядеть отшельником, но недостаточно, чтобы кто-то начал задавать вопросы. Прожить четыре года, пять лет. Исчезнуть. Повторить.

Это была не жизнь. Это была симуляция жизни. Как учебная тревога, которая никогда не становится настоящей. Но его это устраивало. Почти.

Почти — потому что по ночам ему снились сны. Не кошмары. Кошмары — это когда просыпаешься в поту. А его сны были хуже. Ему снилась жизнь. Настоящая. Где он стареет вместе с кем-то. Где у него есть морщины и седина. Где он держит за руку женщину, и её рука тоже в морщинах. Где они смотрят на закат — обычный закат, не тысячный, не десятитысячный, а один из немногих оставшихся, и от этого он

прекрасен. Где он знает, что умрёт, и это знание наполняет каждую минуту смыслом.

Он просыпался. Смотрел в потолок. Потолки были разные — бетонные, деревянные, гипсокартонные. Но трещина была всегда. Та самая трещина. Которая ползла к люстре. Медленно. Неотвратно.

В 2095 году он снова приехал в Цюрих. Не из-за визитки. Из-за денег. Нужно было обновить бумаги, переложить средства. Банковская система менялась, но швейцарские банки стояли как скалы. Он вошёл в то же отделение, что и много лет назад. Внутри всё перестроили, поставили современные терминалы, голографических ассистентов. Но сотрудники всё ещё были живыми людьми.

Он подошёл к стойке. Девушка за стойкой подняла голову. У неё были тёмные волосы, резкие черты лица. Родинка над губой. Нет, другая девушка. Но что-то неуловимо знакомое промелькнуло в лице.

— Добрый день, — сказала она. — Чем могу помочь?

— Мне нужно в хранилище. Ячейка номер...

Он назвал номер. Девушка сверилась с компьютером.

— Ваше имя?

— Марк... — он осёкся. Какое имя он использовал тогда? Двадцать пять лет назад? Он рылся в памяти, но память, как назло, подводила. Там было слишком много имён. — Простите, я точно не помню, на какое имя регистрировал.

— Ничего страшного, — улыбнулась она. — Давайте про-

верим по биометрии.

Он приложил палец к сканеру. Система пискнула. Девушка посмотрела на экран, и её брови поползли вверх.

— Тут какая-то ошибка, — сказала она. — Система показывает, что ячейка зарегистрирована в 2065 году. Тридцать лет назад. Но вы... вы не могли быть её владельцем тогда.

— Почему?

— Потому что вам на вид лет двадцать пять.

— Я хорошо сохранился, — сказал он привычную фразу.

— Это невозможно. Даже с пластикой. Даже с генетикой. Ячейки не передаются по наследству без специальной процедуры. Если вы не...

Она замолчала. Посмотрела на него. В её глазах мелькнуло узнавание. Не его — чего-то другого. Какой-то истории, которую она слышала.

— Моя мать рассказывала о вас, — сказала она медленно. — Она работала здесь. Давно. У неё был клиент. Иностранец. Он не старел. Она думала, что сходит с ума. Но запомнила имя. Марк.

— Ваша мать? — спросил он, хотя уже знал ответ.

— Её звали Елена. Она умерла пять лет назад. Рак.

Марк стоял молча. В зале банка гудели кондиционеры. Кто-то смеялся в очереди. А он смотрел на дочь Элены — Софию. Ту самую Софию, которой он читал сказки. У неё были косички тогда. И открытки на праздники. И засушенный цветок, который он хранил до сих пор.

— Вы — дядя Марк, — сказала София. Это был не вопрос.

— Я... да.

— Мама вас любила. До конца. Она говорила, что вы были прокляты. Я не понимала тогда. Теперь понимаю.

Она не боялась. В отличие от матери, она не боялась. Наверное, потому что выросла с этой историей. История стала частью её жизни, и когда она столкнулась с реальностью, реальность оказалась не страшнее сказки.

— Я хотел бы... — начал он и осёкся. Что он хотел бы? Извиниться? За что? Объяснить? Что? Сказать, что он помнит её открытки? Что хранит засушенный цветок?

— Не надо, — сказала она. — Мама всё поняла. И я понимаю. Вы не виноваты. Вы просто... другой.

Другой. Да. Он был другим. И это слово теперь звучало как приговор.

Он забрал документы из ячейки. Уже уходя, обернулся. София смотрела ему вслед. Она не улыбалась, но и не хмурилась. Просто смотрела. Как смотрят на экспонат в музее. На что-то редкое, ценное, но неживое.

— Прощайте, дядя Марк, — сказала она.

— Прощай, София.

Дверь закрылась. Снаружи шёл снег. Цюрихский снег. Такой же белый и мягкий, как тридцать лет назад. Он стоял на ступеньках банка и думал о том, что все люди, которых он любил, уже мертвы. Или умрут. А он останется стоять на

этих ступеньках. Снег будет идти. Годы будут течь. А он будет стоять.

Он сунул руку в карман. Пальцы нащупали визитку. Белый картон. Чёрные буквы. Доктор Клаус Аденауэр. Он достал телефон. Номер всё ещё работал.

Гудок. Другой. Третий.

— Алло? — голос в трубке был старым. Настоящим старым, не маскирующимся под молодость.

— Доктор Аденауэр? Это Марк. Вы говорили о сообщении. Я согласен.

Тишина. Потом вздох.

— Ты долго думал, Марк.

— У меня было время.

— Время есть у всех нас. В этом и проблема. Приезжай. Адрес я сброшу.

Короткие гудки.

Он стоял под снегом и смотрел на телефон. Потом поднял воротник и пошёл к трамвайной остановке. Трамвай звенел. Снег скрипел под ногами. Город жил своей жизнью. А он ехал на встречу с такими же, как он. С теми, кто тоже стоял под снегом слишком много зим.

Это был конец второй сотни лет. Или начало третьей? Он уже сбился. Но визитка в кармане грела. Не физически. Как-то иначе. Она была обещанием. Что он не один. Что есть другие. Что, может быть, вместе они найдут выход. Или хотя бы поймут, в чём смысл всего этого. Или хотя бы перестанут

врать.

Хотя бы перестанут врать. Это уже было много. Это было всё.

## 2100–2200. Сто лет одинокчества среди людей

Институт прикладной геронтологии располагался в старом особняке на окраине Цюриха. Табличка на воротах была медная, но буквы почти стёрлись. Дорожка, посыпанная гравием, вела к парадному входу. Гравий хрустел под ногами — этот звук Марк помнил. Сто лет назад, или около того, гравий точно так же хрустел под ногами в парке, где он гулял с Леной. Тогда они ели мороженое и смеялись. Она уронила шарик на землю, и он шлёпнулся прямо на гравий, и они смеялись ещё громче, потому что это было глупо и неважно, и оттого прекрасно. Теперь он шёл по гравию один, и мороженого не было, и смеяться не хотелось. Хотелось только одного: найти кого-то, кто поймёт.

Дверь открыл сам Аденауэр. За прошедшие пять лет он постарел. Не внешне — внешне он был всё тем же сорокалетним мужчиной в хорошем костюме. Но что-то в нём надломилось. Плечи опустились, взгляд потускнел. Он был похож на заводную игрушку, у которой кончается завод, но механизм всё ещё работает. По инерции.

— Заходи, — сказал он. — Ты как раз вовремя. Или не вовремя. Сложно сказать.

Внутри особняк оказался больше, чем снаружи. Высокие

потолки, дубовые панели, лепнина. Но всё было запущено. Пыль на подоконниках. Лампочки перегорели через одну. В углах висела паутина. Институт явно не процветал. Скорее, доживал. Как и его обитатели.

Аденауэр провёл его в гостиную, которая теперь служила чем-то вроде общего зала. В камине горел огонь — настоящий, не электрический. У огня сидели двое. Женщина лет тридцати на вид, с короткой стрижкой и усталым лицом. И мужчина, выглядевший чуть старше, с седыми висками и шрамом через всю левую щёку. Они обернулись на звук шагов.

— Новенький? — спросила женщина. Голос у неё был низкий, прокуренный.

— Марк, — представился он. — Таблетка в двадцать пять. Живу примерно с середины прошлого века.

— Ага, — хмыкнул мужчина со шрамом. — Молодой ещё. Я с две тысячи тридцать второго. Мне было сорок пять, когда я принял. Зовут Виктор. Можно просто Вик.

— Мария, — сказала женщина. — Мне сто девятнадцать. Приняла в тридцать. Выгляжу моложе, чем моя внучка. Которая уже умерла.

Она сказала это буднично, как говорят о погоде. Но в голосе звенела сталь. Закалённая сталь, прошедшая через огонь слишком многих потерь.

Марк сел в кресло. Кресло было старое, кожаное, продавленное. Кто-то сидел в нём до него. Может быть, много кто.

Может быть, те, кто уже умер. Не от старости — от пули, от болезни, от собственной руки. Потому что таблетка не защищала от смерти, только от времени. И некоторые выбирали смерть сами. Некоторые — но не он. Пока не он.

— Сколько нас всего? — спросил он.

— Около двадцати по всему миру, — ответил Аденауэр, присаживаясь. — Может, больше. Мы не знаем точно. Таблетки распространялись... хаотично. Кто-то давал их знакомым, как тот старик тебе. Кто-то находил случайно. Кто-то участвовал в ранних испытаниях и не знал, на что подписывается. Связь держат не все. Некоторые ушли в подполье, живут отшельниками. Двое, насколько мы знаем, покончили с собой.

— Трое, — поправил Вик. — В прошлом году японка, Харука. Бросилась в жерло вулкана. Красиво, по-своему. Она всегда говорила, что хочет уйти эффектно.

Повисла пауза. Огонь трещал в камине. За окнами темно. Где-то в доме скрипнула половица — может быть, ветер, может быть, мыши, может быть, призраки тех, кто здесь жил раньше.

— И что вы делаете? — спросил Марк. — В этом институте. Зачем вы вместе?

Аденауэр встал, подошёл к столу, взял папку. Протянул Марку. В папке были бумаги — старые, пожелтевшие, с печатями на разных языках. Формулы, графики, медицинские термины. Марк полистал, мало что понял.

— Мы пытаемся найти антидот, — сказал доктор. — Уже семьдесят лет. Или восемьдесят. Я потерял счёт. Первые тридцать лет мы верили, что вот-вот найдём. Потом ещё тридцать — надеялись. Теперь просто... работаем. По привычке.

— Безрезультатно?

— Почти. Есть одна линия. Но нужен донор. Кто-то, кто готов пожертвовать собой для исследований. Полностью. Не просто кровь сдать. А позволить изучать себя годами. Десятилетиями. Быть подопытным.

— Контракт, — сказала Мария. Она смотрела в огонь и говорила, не поворачиваясь. — Мы называем это «Контракт». Документ, по которому ты добровольно становишься лабораторным материалом. Отказываешься от всех прав. От свободы передвижения. От анонимности. От жизни, в общем-то. Взамен — мы ищем способ тебя убить.

— Звучит заманчиво, — усмехнулся Марк.

— Звучит ужасно. Но это единственное, что у нас есть. Иначе — просто ждать. Ждать, пока случайная пуля, или вирус, или шальная молния не прекратят это. Ждать, возможно, вечно.

Марк отложил папку. Посмотрел на огонь. Языки пламени плясали, извивались, пожирали дрова. Огонь был старым другом. Он грел людей тысячи лет. Но он же и сжигал их. Марк подумал о Харуке, японке, которая бросилась в вулкан. Что она чувствовала в последний момент? Страх? Облегче-

ние? Или ничего — просто усталость, такую глубокую, что даже страх не мог пробиться?

— Я не готов, — сказал он. — Пока.

— Никто не готов, — кивнул Вик. — Мы все говорили «пока». Я говорю это уже сто лет. «Пока». «Потом». «Может быть». Это болезнь такая. Прокрастинация бессмертных. Мы всё откладываем на потом, потому что потом — это всё, что у нас есть.

Он встал, потянулся. Подошёл к окну, отдёрнул штору. За окном был сад — запущенный, заросший, но живой. Деревья тянулись к небу, трава пробивалась сквозь гравий.

— Знаешь, что самое смешное? — сказал он. — Раньше я боялся смерти. До чёртиков. Поэтому и принял таблетку. А теперь я боюсь жизни. Бесконечной жизни. Это как читать книгу, у которой нет последней страницы. Сначала интересно, что будет дальше. Потом устаёшь. Потом начинаешь ненавидеть автора. А потом просто бросаешь книгу. Но мы не можем бросить. Мы внутри неё.

Марк остался в особняке на ночь. Ему выделили комнату на втором этаже — маленькую, с окном в сад. Кровать была узкая, застеленная старым, но чистым бельём. Он лёг, но не спал. Смотрел в потолок. Трещина. Здесь тоже была трещина. Конечно, она была. Она была везде.

Он думал о Контракте. О том, чтобы сдать. Перестать бороться, перестать бегать, перестать притворяться. Стать материалом. Образцом. Экспонатом. В этом было что-то

унизительное, но и освобождающее. Как будто ты снимаешь с себя ответственность за свою жизнь. Ты больше не должен решать, чем заняться в ближайшие сто лет. За тебя решают другие. Ты просто существуешь. Как камень. Как дерево. Как огонь в камине.

Но он не был готов. Пока. Как сказал Вик. Это проклятое «пока».

Утром он уехал. Аденауэр дал ему контакты — защищённый канал связи, явки в разных городах, список имён, которые можно использовать при необходимости. Сообщество было рыхлым, неформальным, но оно существовало. И это грело. Совсем чуть-чуть, но грело.

— Не пропадай надолго, — сказал Вик на прощание. — Мы всё-таки семья. Паршивая, раздробленная, но семья.

— Я вернусь, — ответил Марк. — Когда-нибудь.

— Когда-нибудь, — усмехнулся Вик. — Ты уже говоришь как мы.

Он уехал. Снова поезда, самолёты, города. Снова отели, квартиры, съёмные комнаты. Снова лица, которые мелькают и исчезают, не оставляя следа. Но что-то изменилось. Теперь он знал, что не один. И это знание было как якорь. Он всё ещё дрейфовал в океане времени, но теперь у него была точка отсчёта. Другие корабли, которые тоже дрейфуют. Иногда они перекликаются в тумане. Иногда — встречаются в портах. Это было немного. Но это было всё.

Он прожил ещё двадцать лет в таком режиме. Путеше-

ствовал. Менял личности. Работал где придётся. Один раз его чуть не убили в уличной драке в Мехико — нож прошёл в сантиметре от артерии. Он лежал в луже крови, глядя в небо, и думал: ну вот, может быть, сейчас. Но нет. Приехала скорая, его залатали. Он выжил. Снова выжил. Всегда выживал.

Он начал вести дневник. Не регулярно — когда находило настроение. Записи были короткими, отрывистыми. Он перечитывал их иногда и замечал, что стиль меняется. Ранние записи — длинные, витиеватые, с метафорами и размышлениями. Поздние — сухие, фактические. «Был в Каире. Жарко. Еда плохая. Уезжаю завтра». И всё. Никаких чувств. Никаких размышлений о смысле жизни. Просто констатация.

Чувства уходили. Это был медленный процесс, как эрозия почвы. Год за годом, слой за слоем, эмоции истончались. Он всё ещё мог радоваться — хорошему вину, красивому закату, интересной книге. Но радость была мелкой, поверхностной. Как рябь на воде. Никакой глубины. Никакого настоящего счастья. Счастье требует контраста. Ты не можешь быть счастлив без несчастья, не можешь ценить свет без тьмы, не можешь любить жизнь без осознания смерти. У него не было контраста. У него была ровная, бесконечная плоскость.

Любовь ушла первой. Или второй? Сложно сказать. Он больше не влюблялся. Были женщины — иногда, ненадолго, без обязательств. Физиология работала исправно, но сердце не участвовало. Он смотрел на красивое лицо и видел череп под кожей. Не в буквальном смысле, но что-то похожее. Он

знал, что эта красота временна. Она увянет, сморщится, исчезнет. А он останется. И поэтому не имело смысла привязываться.

Дружба ушла следом. Он перестал заводить друзей. Зачем? Через десять лет они начнут стареть, задавать вопросы, завидовать или бояться. Через двадцать лет они умрут или станут стариками, с которыми не о чем говорить. А он будет всё тем же. Проще не начинать.

Оставалось только наблюдение. Он стал туристом в собственной жизни. Смотрел на людей, на города, на события, но не участвовал. Как зритель в кинотеатре, который знает, что фильм никогда не кончится. Сначала интересно, потом скучно, потом тошно. А потом ты просто перестаёшь что-либо чувствовать. Сидишь в кресле, жуёшь попкорн, ждёшь титров. Но титров нет.

В 2150 году он снова приехал в Цюрих. Особняк всё ещё стоял. Гравий всё так же хрустел под ногами. Но внутри было пусто. Ни Аденауэра, ни Марии, ни Вика. Только запустение, пыль и тишина. На каминной полке лежал конверт. Марк открыл. Почерк Вика, корявый, с наклоном влево.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.